

НАТАЛИЯ КОСТЮЧЕНКО



ПРЕДАТЕЛЬСТВО

ПОВЕСТЬ

*Истинная биография —
не о достижениях, —
о грехах.*

* * *

Тем летом, когда я и Таня, робея и стесняясь, вдохновляемые самыми лучшими ожиданиями, ходили в клуб или к реке, где у костра собиралась молодежь, мы хотели понравиться, влюбиться, встретить каждая своего “принца на белом коне”.

Не стану судить о чувствах сестры, но уж в моей душе, это точно, огромным рассветным заревом разгоралась надежда. Еще не успев влюбиться, я уже была влюблена. Волшебно влюблена. Иногда утром, подходя к окну и вглядываясь куда-то поверх деревьев в саду, в то, что пока еще было невидимым, недостижимым и далеким, мысленно спрашивала: “Где ты? Кто? Что делаешь? Ты ведь есть, моя половинка. Живешь... И не догадываешься, что я вот тут, сейчас, думаю о тебе...”

И я, будучи вот таким странным образом влюблена, уже была не одна, свято веря в существование его — суженого, единственного, родного. И не сомневалась, что скоро, очень скоро произойдет наша с ним встреча.

КОСТЮЧЕНКО Наталия Николаевна родилась в 1963 г. в д. Старая Иолча Брагинского района Гомельской области. Окончила Белорусский технологический институт. Публиковалась в периодических изданиях Беларуси, России, Литвы. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей Беларуси, заместитель председателя Минского городского отделения СПБ. Живет в Минске.

Однако первый, кто смело, решительно и открыто подошел ко мне, оказался совсем не принцем. Меня, робкую и стеснительную, выбрал самый дерзкий в округе, условно судимый за драку пьяница и хулиган. Федор или, как его называли, “цыган”, был года на три старше меня. Рослого, плечистого, с крепкими кулаками и броской, какой-то не местной, то ли южноукраинской, то ли молдаванской внешностью чернявого парня обходили и боялись. Да и сам он держался особняком. Я ни разу не видела его трезвым.

Мое ожидание чуда неожиданно раскололось и рассыпалось на мелкие осколки, когда он однажды, как только закончились в клубе танцы, пошатываясь, подошел, прямо, без смущения посмотрел мне в глаза и, ни о чем не спрашивая, молча, без единого слова, чуть на расстоянии последовал за мной и сестрой. И так же в следующий вечер. И в следующий...

“Ох, ты и попала, девочка. Он же бандит...” — сочувствовали мне.

Я не поворачивала голову в его сторону, когда возвращалась из клуба домой с сестрой и подругами. Но боковым зрением видела его огромный темный силуэт и огонек папиросы. Я его боялась. И это был какой-то особенный, почти животный страх. Раскаленным клубком нарастало нервное напряжение. Весь придуманный мною волшебный мир рухнул. И теперь, кроме Федора, никто из парней уже не мог ко мне подойти.

...Спустя год, летом, я снова приехала в деревню. Снова стала ходить в клуб, с радостью обнаружив, что Федор там не появляется.

Возвращались после танцев большой компанией. Меня и моих подруг, ни за кем открыто не ухаживая и никого из нас не выделяя, провожали парни из нашей и соседних деревень. Иногда они катали нас на мотоциклах и, когда ловили рыбу, угощали на Днепре ухой.

Однажды из соседнего двора, огороженного низким, покосившимся, упавшим в некошеной со стороны улицы траве забором, вышел высокий плечистый парень, выкатывая перед собой велосипед. К раме велосипеда была привязана удочка. Бросив короткий взгляд в нашу сторону, он, легко перекинув ногу, вскочил на велосипед и, не торопясь, оставаясь в поле нашего зрения, стал ездить взад-вперед по бетонке.

Надя, задумчиво провожая его глазами, заметила:

— Откуда у него велосипед? У Доленюков и на хлеб денег нет. Может, попросил у хлопцев?

Я ошеломленно и в то же время как зачарованная, без страха смотрела на парня. Это был Федор. Клетчатая рубашка, завязанная над животом узлом, на ветру за плечами раздувалась, словно парус. Ветер трепал непослушные черные кудри. Шоколадный загар тепло оттенялся закатом. Он держал спину ровно, голову гордо, казалось, сам смотрел на себя со стороны, и, сделав несколько кругов возле нас, поехал в сторону Днепра.

— Ух ты! — восхищенно и по-прежнему задумчиво выдохнула Надя. — Вот же Бог дал человеку красоту! А между прочим, если бы нашлась девчонка — но чтобы он в нее по-настоящему влюбился — да взяла его в руки, какой бы из него парень мог выйти!..

Надя выговорила эти слова с такой искренней и страстной убежденностью, что мне стало казаться, будто они исходили от кого-то другого, более значительного и знающего, кто сказал мне это через нее, чтобы глубоко затронуть мою душу всем их смыслом.

В выходной Федор пришел в клуб. В кинозале уже демонстрировали очередной из привозимых ежедневно, кроме понедельника, фильм.

Вспышкой меня пронзила радость. Я хотела, чтобы он пришел: трезвый или пьяный — любой.

Я сидела во втором ряду. Отыскав меня глазами, он как-то грубо, тяжело обрушился в жалобно заскрипевшее кресло впереди меня. Оглянулся.

— Федор, — без страха и смущения впервые обратилась к нему я, — как жаль, что ты выпивший. А я думала попросить, чтобы ты проводил меня домой.

Он на мгновение замер, тряхнул головой и, ничего не ответив, поднялся и ушел. До окончания фильма, которого я, тупо глядя на экран, конечно же, не видела, он в кинозале не появился. В помещении, где потом были танцы, его тоже не оказалось.

После танцев я в общей толпе вышла из клуба. Вместе с подругами миновала освещенную фонарем часть дороги. И тут возник он! Не так, как прошлым летом, чуть на расстоянии, а рядом, совсем рядом.

Мы говорили, но мало. О чем — не вспомню. Больше молчали. Запомнилось только волнение.

Позже он расскажет мне, что тогда, покинув кинозал, направился прямо к колодцу и, вытягивая из него ведро за ведром с водой, опрокидывал себе на голову.

— Ты будешь в клубе завтра? — спросил у моей калитки Федор.

— Не пойдем в клуб, Федя, — мы впервые стояли близко, лицом к лицу. Только я смотрела на него снизу вверх, а он — чуть наклонив ко мне голову. Так я еще никогда ни перед кем не стояла. Чувство, которое я при этом испытывала, не передать через слово, но оно остается свежим и острым в памяти до сих пор. — Приходи лучше, как начнет темнеть, сюда. Только трезвый!

Я и Федор стали встречаться. Не в клубе. А у моей калитки.

Мы бродили по деревне, прогуливались вдоль леса, ходили на дуг. Я — неизменно босиком. Мне нравилось быть намного ниже Федора ростом и ощущать его превосходство в физической силе. То обстоятельство, что я босая и что мы прогуливались в темноте, вынуждало его беспокоиться обо мне, чем я тайне наслаждалась. Хотя и выражал он свое беспокойство едва заметно и сдержанно: лишь вздрагивал, если я где-то слегка спотыкалась или оступалась, и осторожно придерживал меня за руку.

Мне было приятно, что такой бесстрашный, как мне казалось, грубый и сильный человек так трогательно боялся брать мою ладонь в свою. Но когда это случалось, я с трепетным восторгом вчувствовалась в надежную мозолистую нежность его крепкой руки. Постепенно водить меня за руку почти до рассвета — стало единственной близостью, которую он позволил по отношению ко мне.

Окружающих, и даже подруг, моя дружба с Федором смущала.

И мой дедушка, узнав от кого-то дурное обо мне, зашел в хату, окинул меня тяжелым гневным взглядом и процедил сквозь зубы:

— Ишь какова оказалась внучка! Нашла с кем путаться... Дожить до такого позора!

Бабушка расстраивалась. Я тоже. Едким отвратительным ядом входило в мою жизнь чужое осуждение. И однажды мне так безудержно захотелось освободиться, отмыться от него, как от чего-то нечистого, что я чуть было не рассталась с Федором. Перестала выходить к нему за калитку. А он приходил и ждал.

Но в душе человека столько противоречий, одно чувство, бывает, идет в разлад с другим. Спустя несколько дней я не выдержала, вышла к Федору. Он ни о чем не спросил. И мы просто молча пошли рядом... Только бесконечное, бездонное, наше с ним небо без слов разговаривало с нами, обнимая, понимая и утешая. Никогда ни с кем мне вот так не приходилось молчать. Но как легко, как счастливо было от того непринужденного молчания...

Федор работал в совхозной бригаде разнорабочим. Чуть позже — на тракторе. Если прежде он каждую свою зарплату, просто говоря, пропивал, то на этот раз...

Вечером, как стемнело, я долго стояла у калитки, всматривалась в серую ленту дороги, нервничала, потом пошла в направлении его деревни, вернулась, вслушивалась — Федора не было. Издевательски немилостиво на этот раз стрекотали кузнечики. Колбочими звездами холодно смотрело на меня небо. Тихо, незнакомо и неприятно пусто было крутом... Без него. Злой пьявкой всосалась в душу тревога.

Не уйду. Как же это невыносимо — вот так ждать. Час, больше?..

Вначале я не увидела его, а услышала громкий топот ног. Я знала, что это он. Федор бежал. В темноте он чуть не налетел на меня и резко остановился, прерывисто и шумно хватая ртом воздух. Он был одет во что-то светлое, а на груди по светлой фону — темные пятна.

В недоумении я всматривалась в него:

— Что случилось?

— Да вот, — все еще шумно дыша, со смехом стал говорить Федор, — хотел похвастаться перед тобой. С зарплаты в лавке рубашку купил.

Я протянула руку и потрогала темные липкие пятна на ней.

— Что это?

— Кровь, — рассмеялся Федор. — Думал придти к тебе в новой рубашке, да не успел. Ухажеры твои помешали. Я-то ничего, а они сдачи получили. Помнить будут. Только кто же так делает: восемь человек на одного...

— Какие еще ухажеры?

— Да все из вашей компании, в какой ты гуляла до меня.

— Что значит гуляла? Мы же так, все вместе, чтобы не скучно было. Без ухаживаний.

— Ты думаешь, я не знаю? — Федор перестал улыбаться и спокойно, серьезно сказал: — Я все про тебя знаю. Нравилась ты там кое-кому. — И, переведа дыхание, явно гордясь, продолжил, словно отчет перед командованием держал после боя: — Я бы с ними справился быстро, и даже с большим количеством справился, если бы спиной было к чему прислониться. Упрешься спиной — и все перед тобой. Тогда уж тебя никто не одолеет. А так окружили со всех сторон. Вот и задержался...

Я не знала, плакать мне или смеяться. Спросила:

— За что они тебя?

— Поджидали. Знали, что к тебе иду. Решили предупредить: буду ходить — прибьют. — И твердо добавил: — Хотели остановить. Не выйдет.

У колодца, набрав в ведро воды, мы застирали его рубашку. Федор сказал, что она бирюзовая. И я представила, как он выбирал и покупал ее, и как радовался, когда шел в ней на свидание.

Сердце щемило. Я попросила:

— Федя, пойдем завтра в клуб.

В течение следующего дня я представляла, как войду с Федором в клуб, держа его за руку перед всеми, не отпуская. Как гордо, смело и с презрением посмотрю в глаза тем... Обязательно посмотрю. И уверенно поклялась себе: “Я буду оберегать Федора, от всякого зла оберегать. И никогда больше не стану стыдиться того, что я с ним!”

Вечером мы с Федором отправились в клуб. Вошли после фильма, когда уже начались танцы. Я держала его за руку. То, что я увидела, было как в замедленном кино. Почему-то все — так мне показалось — словно в каком-то замешательстве, стали смотреть на нас. И они на самом деле смотрели. Удивленно и с интересом.

Я опустила глаза и предательски высвободила руку. Федор, чуть наклонив ко мне голову, тихо спросил:

— Если хочешь, уйдем?

Я, так и не поднимая ни на кого глаз, кивнула. И мы ушли.

Во время зимних каникул я приехала в деревню с родителями. Желая избежать неприятностей, так как папа у меня, как и дедушка, по характеру суровый, бабушка меня обманула, сказав, что Федора внезапно призвали в армию.

Я догадывалась, что армия — мечта Федора, так как в ней он видел единственную возможность уехать из деревни, где пережил столько унижений. Он часто обращался в Брагинский райвоенкомат с просьбой призвать его. Но безрезультатно. Препятствием стала то ли какая-то врожденная болезнь сердца, то ли условная судимость за драку. Я точно не знала и, чтобы не смущать Федора, не выведывала.

Я заскучала, а где-то в душе и порадовалась за него, а перед отъездом в Минск решила, поделившись своими планами с бабушкой, навестить его сестру, хотя ни разу с нею не общалась.

Федор же, ни в какую армию не призванный, получив от меня письмо с сообщением о приезде, каждый вечер приходил к калитке, на то место, где мы встречались летом. Бабушка, как потом мне призналась, его украдкой высматривала и очень переживала, а на третий вечер не выдержала и вышла со двора к нему.

— Мой же ж внучек, — сказала она Федору, — Наташка просила передать, что не хочет с тобой встречаться. Ты ж и сам пойми — не по тебе она, Федька. Не ходи сюда болеей.

А за два дня до нашего с родителями отъезда бабушка мне во всем призналась.

Вечером я, пока совсем не замерзла, стояла на улице. Федора не было. А наутро бабушка, как бы заглаживая свою вину, сообщила:

— Наташачка, внучачка моя, не переживай. Я с самого рання сбегала да его матки и наказала перадать Федьке, что ты будешь ждть его в шесть часов вечера у калитки.

Я с нетерпением ждала вечера. Шесть часов, семь — Федор не появился. Снова что-то было не так... Обманули, не передали? Или что-нибудь случилось? Уже не испытывая ни страха, ни смущения, я решила немедля сама пойти в Иолчу. И пошла, прошла почти полдороги. И вдруг навстречу мне, по снегу, в одних штанах и майке — он. Опять бегом. Не узнав, пробежал мимо.

Я его окликнула:

— Федор!

И сейчас вижу, как он стоит передо мной на морозе в тапках на босу ногу и отчитывается:

— Я ж не живу с батьками. Матка вот только пришла и сказала, когда я сидел за столом и вечерял. Гляжу на часы — восьмой. Я в чем был, в том и побежал. Слышал, как матка вслед кричала: “Дурны, вернись! Оденься...”

Стоит ли рассказывать о той встрече, о пережитых чувствах? На следующий день я с родителями уехала.

Федор переболел воспалением легких.

А весной, в мае, его в самом деле призвали в армию. Я приехала с ним проститься. В тот единственный вечер шел дождь. И мы укрылись от него в совхозном амбаре, где хранилось прошлогоднее сено. Ворота амбара были широко распахнуты, и через этот огромный проем виднелась темная стена леса, который был близко, за фермой. Федор лежал на сене на спине, закинув руки за голову, и смотрел на меня. Я сидела рядом, выставив вокруг себя широкий подол своего нарядного платья, и смотрела на лес. Мы молча прощались.

— Я буду тебе писать, — вдруг Федор приподнялся и потянулся ко мне.

Меня этот его порыв взволновал, отозвавшись во мне внезапной горячей волной. Потом он, словно испугавшись, резко откинулся назад.

Федор ушел в армию, так ни разу и не поцеловав меня.

* * *

Я училась в технологическом институте на лесохозяйственном факультете. Правда, отец, не считаясь с моим желанием, перед этим настоял, чтобы я поступала в народнохозяйственный. Но, когда он был в командировке, я, уже успешно сдав три экзамена, забрала оттуда документы.

Папа у меня физик, мама — математик. Узнав о моем желании стать филологом или журналистом, папа категорически возразил:

— Журналисты, как и всякие другие писаки — болтуны. Гуманитарии — это несерьезно. Что же, раз не захотела в нархоз на финансовый, выбирай самостоятельно профессию, но ставлю одно условие: поступишь только в технический вуз.

Выбрала лесохозяйственный. Все же природу я любила. Ни финансистом, ни тем более бухгалтером быть не хотела.

Но, хотя я и училась в техническом вузе, иногда писала стихи и рассказы, публикуя их в студенческой газете.

С Федором мы переписывались. Мои письма были длинными, может быть, даже с излишними подробностями. Наверное, так я удовлетворяла свою потребность в творчестве. Писала, словно вела дневник, рассказывая обо всем, что волновало, что чувствовала и о чем думала. Его письма были, наоборот, короткими, крайне лаконичными, написанными мелким неровным почерком. И с ошибками. Федор обычно сообщал, что служба идет нормально, что жив, здоров и скучает. Содержание каждого его письма я знала, прежде чем вскрывала конверт.

Мама была огорчена из-за приходивших на наш адрес писем. Такая переписка, по ее мнению, не делала чести ни мне, ни всей нашей семье. Она ждала, не скрывая от меня своего неприятия нашей с Федором дружбы, когда же вся эта несурезица, наконец, закончится. Как-то мама, недовольно протянув мне очередное письмо, обнаруженное в почтовом ящике — обычно почту я старалась забирать сама, — попыталась меня вразумить:

— Как ты не видишь, что вы — не пара. Вы — очень разные по уровню. Со временем влюбленность проходит, уступая место привязанности, дружбе и духовной близости, которые возможны только при наличии общих интересов. И вот тогда ты почувствуешь, насколько ошиблась в выборе. Пусть он неплохой, но ведь важно, чтобы твой спутник по жизни еще и понимал тебя. Я сомневаюсь, что он будет способен на это. Плюс — гены. Ты уверена, что он снова не станет пить? Тем более, осознав ваше с ним несоответствие, вряд ли он будет счастлив с тобой. Если он не поднимется до твоего уровня — а этого, скорее всего, не произойдет, — то ты опустишься до его.

Мама говорила красиво, не спеша, укладывая слова в тщательно подобранные фразы; непоколебимая уверенность в своей правоте почти всегда исходила от ее слов, когда она меня воспитывала или чему-то учила. Она не советовала, а, как истинный педагог, наставляла. И эта ее тихая, неторопливая, сосредоточенная убежденность в том, что она отстаивала, возвышала ее над происходившими явлениями почти в каждой ситуации. Я знала, что она была человеком честным, очень порядочным, требовательным и строгим не только по отношению к другим, а, прежде всего, к себе, и поэтому свято верила в исключительную справедливость ее доводов.

Я понимала, что мама желает мне добра. И что ей не безразлично, с кем общается ее дочь. Как-то она не выдержала, взяла из ящика моего стола и прочитала письма Федора. Ее покорила его безграмотность. Больше всего она ценила в человеке знания и образованность. Даже папу — своего бывшего одноклассника — она выбрала в мужа за то, что во время их свиданий он увлеченно решал вместе с ней задачи по математике.

— Тот для меня не мужчина, кто не знает математики и физики, — сказала она когда-то в юности — хоть и с юмором, но правду — моему папе. И он, после ее слов, чтобы не оказаться недостойным своей одноклассницы-отличницы, в которую с четвертого класса был влюблен, одержимо стал “грызть гранит науки”.

Не скажу, что меня совсем не смущали ошибки в письмах Федора и некоторая ограниченность в его способностях выражать мысли. Нет, наоборот. То, каким я воспринимала его во время наших свиданий, и его письма — были разные вещи. Тот, с кем я встречалась, меня волновал и восхищал. Автор же этих писем вызывал во мне странное, противоречивое чувство и... разочарование. Однако негативную реакцию я в себе старательно подавляла, рисуя в воображении картинки будущего: “Деревня... Федор — тракторист, я — лесничая, его жена. Уставший, пропахший соляжкой и мазутом, он возвращается домой. Я, радуясь, встречаю его и подаю ему на ужин украинский борщ...” То представляю, как он колет дрова, а я в это время стираю его рубашки. А в холода надеваю телогрейку и повязываю голову цветастым платком. И вижу, что нравлюсь ему... В моем романтическом воображении не было места угасавшим, уступавшим привычке чувствам, а также трудностям, с которыми может столкнуться, живя в деревне, не приученный к тяжелой работе городской человек. Такое мне казалось невозможным.

К концу учебного года недалеко от Минска, в Негорельском учебно-опытном лесхозе я проходила практику. Один из преподавателей — молодой кандидат наук, которому еще не было и тридцати лет, — обратил на меня внимание. Павел Степанович, энергичный и общительный, впридачу ко всему еще хорошо пел и играл на баяне, поэтому свободное от преподавания и научной работы время проводил со студентами.

Я чувствовала, что Павел Степанович относился ко мне не так, как к другим студентам, а более внимательно и уважительно, и даже устраивал для меня индивидуальные экскурсии, во время которых знакомил с разными типами леса и лесными культурами. Это мне льстило. Особенно когда я замечала, с каким интересом и даже с некоторой завистью смотрели на меня однокурсники.

Иногда я приезжала домой и рассказывала родителям, как проходит практика. Маму информация о Павле Степановиче особенно интересовала и радовала. Она то и дело расспрашивала о нем и просила рассказывать по-подробнее.

Я несколько не была влюблена в своего преподавателя, но мне нравилась реакция на его отношение ко мне окружающих. Чувствовала, как постепенно благодаря этому отношению возрастал в среде студентов и даже в глазах мамы мой авторитет. Каждый человек в той или иной степени тщеславен. Я не была исключением.

По окончании производственной практики Павел Степанович вызвался проводить меня и помочь доставить домой мою тяжелую, набитую книгами, одеждой и другими вещами сумку. Я пригласила его на чай и познакомила с родителями.

Павел Степанович стал у нас дома частым гостем. Дружба, которая так неожиданно завязалась, была, пожалуй, не между ним и мной, а между ним и моей мамой. Он неизменно приносил для мамы живые цветы. Вел с моими родителями любезные и умные беседы. Папе Павел Степанович, нельзя сказать, чтобы очень уж понравился, скорее, он относился к нему сдержанно. Папа любил взять рюмку, и вечерами, после работы, обычно себе в этом не отказывал. А Павел Степанович подчеркнуто-вежливо вставал из-за стола, подходил к кухонной раковине и набирал в свою рюмку из крана водопроводную воду.

— Нет-нет, ничего не надо. Я не пью, — говорил он к великой радости моей мамы. — Предпочитаю чистую водичку.

Папа много курил. Причем только крепкие папиросы. “Беломор”, например. Павел Степанович не курил вообще.

Летом, в мои студенческие каникулы, родители взяли отпуск, и мы все вместе отдыхали в деревне. Там же одновременно с нами проводила свой отпуск и папина сестра — моя любимая тетя Марина, мама Тани.

С Таней мы иногда ходили в клуб. Хотя я это делала без прежнего энтузиазма, а только для того, чтобы составить компанию сестре. Мне больше хотелось, когда темнело, посидеть возле нашего двора на лавочке, представляя и почти физически ощущая, как по дороге, со стороны Иолчи, идет на свидание со мной Федор.

Мама мне долго сидеть не позволяла. Она словно уже определила для меня совершенно другой, более серьезный статус.

— Наташа. Иди домой. Садись и пиши ответ Павлу Степановичу.

Тетя Марина поддерживала маму. Они обе просто зачитывались длинными, грамотными, выведенными фигуристым изящным почерком, письмами Павла, в которых он подробно и чуть ли не художественно описывал свои научные исследования, каждый раз подчеркивая, что готовится к защите докторской диссертации.

— Какой умница, — говорила с восхищением тетя Марина. — Я его не видела, но уже представляю по письмам. Это тебе не Доленюк!

— Мне Павел не нравится, даже внешне, — призналась я.

— Глупенькая, — не соглашалась со мной тетя. — В будущем ты поймешь, что внешность — не главное. Будь он Квазимодо, я бы пожелала такую партию для своей дочки.

Мнение тети, известного и талантливое юриста, было авторитетным.

— Садись за стол, — чуть ли не приказывала мне мама, подавая ручку и бумагу. — Пиши.

И я писала. Не такое, как Федору, а коротенькое, в пять-семь предложений, скупое на эмоции письмо — сухой и холодный отчет о том, что я делаю в деревне.

В клубе ко мне постоянно подходила высокая, крупная, с короткой стрижкой, похожая на мальчишку, девушка Аня. Раньше я ее не замечала, вернее, не знала. Она жила в Иолче по соседству с Доленюками.

— Федор тебе пишет? — поинтересовалась она у меня, когда подошла в первый раз.

— Пишет.

— А ты ему?

— Тоже пишу.

— Смотри, жди его.

Мне казалось, что она чуть ли не следит за мной. Аня каждый раз садилась недалеко от меня в кинозале, подходила во время танцев и стояла рядом со мной. Она вела себя, словно парень, и этим смущала меня.

Только спустя несколько лет я узнала, что Федор — ее первая любовь. И до сих пор до щемления в сердце удивляюсь, что без зависти, ревности и эгоизма она с таким искренним рвением опекала, охраняла и оберегала меня для него.

* * *

К началу сентября мы с родителями вернулись в Минск. Павел Степанович, незаметно ставший для нас Пашей, с неизменным постоянством навещался к нам в гости. Он все так же был внимателен, вежлив и приносил цветы.

Мама всегда была рада ему. Я замечала, что благодаря его посещениям она даже становилась счастливее, чаще улыбалась и смеялась.

— Мама, да он приходит не ко мне, а к тебе. Вот ты с ним и общайся, — сопротивлялась я, когда она пыталась вытянуть меня из комнаты, где я готовилась к занятиям или читала книгу.

— Наташа, но это же неудобно. Он — твой гость. А ну-ка, не упрямясь, выходи.

Чем настойчивее и стабильнее он становился своим в нашей семье, тем меньше мне хотелось общаться с ним.

— Ведь это же ты привела его когда-то в наш дом, — упрекала меня мама. — Паша нам очень нравится. А ты поступаешь нехорошо. Нельзя обижать человека.

Я выходила из своей комнаты, присаживалась к столу. Но чувствовала себя отчужденно, с трудом участвуя в общей беседе. Мне казалось, что Павел, разговаривая, слышал только себя. Да и говорил он больше о своем, хвастливо и увлеченно. И мне все чаще становилось не по себе от его многословия. Выслушав однажды мое мнение о Павле, мама сказала, что я ошибаюсь и упрямясь в своем нежелании его понять. Но Павел какой-то другой стороной, совсем не такой, как маме и окружающим, открывался мне. Я интуитивно чувствовала: было в нем что-то не мое, совсем не мое.

Он приглашал нас с мамой на прогулку. И мы иногда гуляли втроем.

— Ой, Наташенька, надень шапочку, а то простудишься. На улице ветер, — предусмотрительно и как-то не по-мужски суетливо обхаживал меня Паша.

Маму это умиляло: какой заботливый мог бы быть у Наташи муж! Мне же его ухаживания были неприятны. В будущем я не раз замечала, что слащавенькая обходительность в манерах, употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов при разговоре и многословие характерны для мужчин с женской натурой, немужественных, угодничающих перед более сильными.

Я маму понимала. Она не только желала для меня такого внимательно-образованного и авторитетного мужа, как Павел, но и, возможно, сама для себя находила в нем отдушину. Тем более что папа был суровым, властным, а порою не в меру жестким. Моему брату доставалось меньше, чем мне и маме, ведь, по мнению папы, Сережа — все же мужчина. Это с “бабами” нужно быть построже. Хотя под рюмку он смягчался, становился ласковее, любил пошутить. Трезвого же мы его побаивались и, когда он был дома, больше молчали.

А тут — Павел, непьющий, некурящий, обходительный.

Тот, наверное, и сам почувствовал в маме искреннего своего союзника. И, то ли интуитивно, то ли намеренно, стал делать на нее ставку: цветы, комплименты, мягко-вкрадчивое обращение... К тому же, что покорило всех, он хорошо пел и играл на баяне.

И вот в начале весны Павел сделал мне предложение. Письменное предложение выйти замуж я получила и от Федора, у которого в мае должен был закончиться срок службы. “Ответь мне честно и конкретно, — просил он в письме. — Мне нужно определиться. Если откажешь — я останусь в армии сверхсрочно”.

Мама вечером, перед тем, как лечь спать, сидела на краю моей постели. Строго смотрела мне в глаза. Ждала от меня правильного решения.

— Я не буду считать тебя своей дочерью, если ты выйдешь замуж за Федора, — категорично предупредила она.

Я молчала, словно не слышала. Отстраненно, мимо мамы, смотрела в одну точку.

Впереди ждали бессонные ночи...

* * *

Свадьбу справляли в мае. Пышно. Широко. Один день — в минском ресторане, и всю неделю — на родине у Паши, в Беловежской пуще.

Отец Павла — главный лесничий. Дед был лесничим. Да и вся их династия из поколения в поколение — лесная. Брат Павла тоже окончил лесохозяйственный, защитил кандидатскую диссертацию. Сам же Паша — молодой доктор наук, накануне свадьбы защитился.

Когда мои родители ему сказали: “Наташе вроде бы выходить замуж еще и рано”, он ответил:

— Я вашу Наташу готов хоть десять лет ждать. Но я тороплюсь. Мне уже тридцать.

Перед тем как подать с Пашей в загс заявление, я написала Федору, что выхожу замуж.

После свадьбы Паша захотел, чтобы мы с ним какое-то время провели в пуще — в деревне у его родителей. В Негорельском учебно-опытном лесхозе, где я прошлым летом проходила практику, у Паши был дом, вернее, ведомственное жилье, предоставленное молодому специалисту. Он сказал, что, когда вернемся, я войду в него хозяйкой.

Свекор, Степан Павлович (у них в роду всё были Степаны да Павлы), возил меня с Пашей на своем “уазике” по заповедным местам пуши, показывал достопримечательности — в нескольких обхватах гиганты-дубы, редкие растения, рассказывал о птицах, диких кабанах и зубрах.

Утром Пашина мама, следуя местному десятидневному обряду, который было принято свекрови совершать над невесткой, надевала на меня фартук, повязывала мою голову платком и брала с собой в работу. Я вместе с ней готовила еду, мыла посуду, ухаживала за домашней живностью и помогала на грядах. Тому, чего не умела, она меня терпеливо учила.

Под вечер мы с Пашей прогуливались по пущанским тропинкам, слушая птиц и любясь могучими, вековыми, как в старой доброй сказке, деревьями. Мне нравились белесые пески на дорожках, такие же, как и в моей деревне.

Я незаметно начинала привыкать и отгаивать. Думала: “Не так уж все и страшно, не так и плохо...”

Нам, как молодым, выделили отдельную комнату на втором этаже. Мне запомнился вид из окна: на лес и небо...

Я впервые почувствовала к мужу пусть и не любовь, но какое-то доверие и тепло. Там, в этой комнате, когда мы с Пашей уже легли отдыхать, я, глядя в окно на небо, искренне, торжественно, как что-то сокровенное, очень важное для себя и для него, сообщила:

— Знаешь, я выпишусь от родителей и пропишусь к тебе. Я всегда мечтала жить в деревне. Пусть Негорелое — не деревня, а лесхоз, не имеет значения. В лесу мне тоже нравится...

Вдруг Павел резко вскочил, нервно зашагал взад-вперед по комнате и каким-то незнакомым мне, возбужденно-визгливым голосом ответил:

— Я не для того на тебе женился! У меня впереди — серьезная карьера. Мне нужна прописка в Минске.

Неожиданное, холодно-рассудительное и такое меркантильное признание обожгло больно, в одно мгновение уничтожив во мне только-только начинавшую зародиться душевную близость к нему.

Павел вскоре опомнился, сообразил, что сказал необдуманно резко, поспешно. Подбери он другие слова — все, возможно, воспринялось бы иначе. Но было поздно! Я отвернулась от него к стене.

...Чуть розовели вершины деревьев, скрывая торопливо закатывавшийся за них шар солнца; их мягкие, нечеткие тени в ленивой дреме с каждой минутой все больше и больше вытягивались, оползая на лесные поляны. Я и Павел, как обычно, вечером, прогуливались по пуще.

— Хочешь увидеть вблизи диких кабанов? — спросил у меня Паша.

Конечно, я заинтересовалась. Я не была против того, чтобы взглянуть на агрессивных и опасных для людей обитателей пущи, о которых накануне рассказывал свекор. Меня взбудоражила история, как Степану Павловичу встретившийся по дороге зубр чуть не разбил вдребезги машину. А дикие кабаны, которых я никогда не видела, по описаниям были намного крупнее домашних, и с клыками.

Паша подвел меня к охотничьему вольеру. Глядя на нас, все кабаны, которых за оградой было с десятков, замерли, пока один из них, дернувшись, не развернулся и с громким топотом не помчался в отдаленную часть вольера. За ним, как по команде — все остальные. Деревянное ограждение, к которому побежали кабаны, с грохотом рухнуло на землю. Дикое стадо животных оказалось на свободе.

Я даже не успела испугаться, а только как замороженная смотрела в ту сторону, куда гулко и ошалело, взрывая копытами землю, убегали напуганные до смерти недавние пленники.

Я обернулась — Паши рядом не оказалось. В противоположной стороне от той, куда убегали кабаны, довольно далеко от места, где мы минутой назад еще стояли вместе, я увидела его. У Павла, как говорится, “только пятки сверкали”. Муж струсил, оставил меня одну, от страха даже не оглянулся. Я, не двигаясь, с каким-то неприятным брезгливым удивлением смотрела ему вслед.

Он вскоре вернулся, странно улыбаясь, говорил, что пошутил, проверял меня. Я ему не поверила.

— Хорошо бегаешь, — ответила я мужу.

* * *

Только третий месяц шел, как мы с Павлом поженились, а я все больше ощущала, что в моей душе зреет какой-то разлад. С одной стороны в ней нарастало беспокойство, а с другой — образовывалась пустота. Люди, весь мир, сама жизнь от меня словно отгораживались стеной. Где-то глубоко внутри высасывала из меня силы тоска.

Оставаясь одна в доме, я смотрела в окно: где-то там, за лесом, еще совсем недавно, у меня была другая жизнь. А теперь ниточкой за ниточку я

вплетала в нее что-то совершенно чуждое и немилое. Неужели так будет до самой смерти? Во мне умирала одна и рождалась другая, с разочарованной и завязанной в тугой узел души, “я”.

Купив в Минске на базаре маленького, белого в темных пятнышках котенка, я привезла его в Негорелое. Войдя в дом, радостно сообщила Паше:

— Вот теперь у нас — еще одна живая душа. Принимай.

Муж, увидев в моих руках котенка, поморщился:

— Держать в доме животных негигиенично. Вынеси его во двор и вымой руки.

Я с трудом уговорила Павла поселить котенка хотя бы на веранде.

— Раз приобрела — пускай живет. Но только, пожалуйста, не трогай его руками.

Я понимала, что мы с Павлом — очень разные, и с возраставшим душевным отчуждением к нему во мне возникло, и со временем все больше усиливалось, отвращение физическое. И чем сильнее становилось это отвращение, тем настойчивее муж требовал от меня близости. Уступая ему, я чувствовала, как что-то где-то глубоко теплившееся, непознанное, еще не успевшее до конца пробудиться к жизни, через это мое смирение ломалось и умирало во мне.

Сестра Паши приехала как обычно, в пятницу, накануне выходных. Устав от затянувшейся “холодной войны” между нами, я подошла к ней, как только она появилась на пороге, и протянула руки:

— Давай с тобой родниться.

Спрятав свои руки за спину, Инна отвела взгляд:

— Мы слишком для этого несовместимы.

Паша как-то растерянно, виновато посмотрел на сестру и отозвал меня в сторону:

— Разве ты не видишь, что Инна не хочет с тобой общения?

— Но если я ей так неприятна, зачем она приезжает к нам? Мне не нравится, что вы постоянно уходите из-за меня в лабораторию.

— В таком случае, ты будь умной, уступи госте. Чтобы не мешать — взяла бы да и прогулялась. Ты же любишь гулять по лесу.

Мне и в самом деле нравилось здесь, в Негорелом, гулять по лесу. Уходила в лес часто: только бы подальше от дома, подальше от мужа. В лесу я успокаивалась.

Отвернувшись от Паши, я вышла на веранду, взяла на руки котенка и, прижав его к груди, как единственную близкую душу, пошла в лес. Котенок был ласковым, привязался ко мне, привык к моим рукам и не вырывался.

Тогда, в лесу, я чувствовала, что уходила из чужого мне мира в родной. Казалось, что лес без слов разговаривал со мной и, давая свой, особый уют, утешал.

Выйдя на лесную поляну, присела среди папоротников и смотрела, как догорает небо.

Темнело. Было прохладно, а я не взяла кофту. Но возвращаться домой не хотелось. Отыскав большую, с широким пологом, ель, спряталась с котенком под нею. Присела, прислонившись к стволу. Земля была мягкая, усыпанная хвоей. “Здесь меня никто не заметит, — успокаивала я себя, — ни зверь, ни недобрый человек”.

Все же, когда стемнело, мне стало страшно, очень страшно. И холодно. Котенок, наверное, тоже боялся, потому что молчал, никуда не рвался, маленьким комочком замерев у меня на коленях. Сжимала горло обида, гордость не позволяла вернуться домой.

Так, под елью, с котенком, я и просидела всю ночь, пока под утро, когда начало светать, не услышала мамин голос:

— Наташенька-а... Наташа...

Я вскочила и на непослушных, сомлевших от сидения ногах бросилась на голос:

— Ма-ма-а!

Получилось, что мама, как и сестра Паши, приехала к нам на выходной. Дома обнаружила только Инну и Пашу. Подождала меня какое-то время. А когда стало темно, пошла искать. Так и искала всю ночь.

Искал, конечно, и Паша, но...

Наутро у меня открылось сильное кровотечение. “Скорая помощь” забрала в больницу в Минск. Мама поехала со мной. Оказалось — угроза выкидыша, почти три месяца беременности. Врачи предупредили: если лишусь ребенка, то при моем отрицательном резус-факторе могу больше не иметь детей.

Неделю не соглашалась на операцию. Сбивала, скрывая от врачей, температуру. Только когда столбик термометра стал показывать почти сорок, испугалась.

Врачи, уже не спрашивая моего согласия, сказали маме:

— Нужно спасти не будущего ребенка, а вашу дочь. У нее может начаться заражение крови.

После больницы, в августе, я уехала к бабушке, в Прудовицу. Павел приезжал, уговаривал вернуться с ним в Негорелое, но я отказалась.

Родители писали, что он часто бывает у них, переживает, ночует, не снимая одежды, в зале на диване. Уговаривали меня помириться, может, и смириться — Павел все-таки муж, — и вернуться домой. Тем более что вот-вот сентябрь, начало следующего учебного года в институте.

Институт, третий курс дневного отделения... Я понимала, что надо, очень надо ехать. Но ехать не было сил. Силы были только на то, чтобы оставаться в своей деревне, в своей Прудовице, и каждой еще живой клеточкой души, словно за спасительную соломинку, держаться за нее.

С наступлением сентября я получала телеграммы от Павла, письма от родителей. Но под воздействием всего того, что в последнее время так усиленно подавляла в себе и чему теперь позволила вырваться на свободу, я уже не могла подчиняться ничьей воле, кроме собственной. Решила: будь что будет, пусть хоть “мир рушится” — никуда не поеду.

Прошел сентябрь. Наступил октябрь.

Павлу, преподававшему в моем институте, ничего не оставалось, кроме как самому переоформить мои документы и перевести меня на заочное отделение.

В деревню я приехала в августе, и сама не ожидала, что задержусь тут надолго, поэтому теплых вещей с собой не брала. Но настолько я чувствовала себя комфортно в бабушкиных бурках, телогрейке, в ее кофточках и платках, так приятно было греться у знакомой до каждой прожилочки и трещинки беленой печки, такую необыкновенную нежность и успокоение обретала моя душа, что хотелось только одного: чтобы все это продолжалось как можно дольше.

Я много гуляла по окрестностям. Выходя за калитку, вначале вглядывалась в серую безлюдную даль дороги, извилистой лентой огибавшей деревню, переводила взгляд на высокие могучие вербы вдоль гребли, а потом шла на граничащий с болотами, поросшими осокой и камышом, луг. Дикими непролазными островками среди болот разбрасывался ольшаник. И все это, вечерами сливаясь с сумерками, обволакивала осенняя, тоскливая, в легкой дымке дрема.

Когда в деревне стало возможным спокойно, не торопясь, и, самое главное, независимо ни от кого, подумать о своей жизни, я уже не могла и представить продолжения каких бы то ни было супружеских отношений с Павлом. Все, что меня могло ждать рядом с ним, — это пустота. Пустота, не зависевшая ни от множества дел, ни событий, ни планов. Я понимала, что уже не быть нашему с ним будущему. И теперь хотела только одного: как можно быстрее обрести свободу. Уже то, что позволила себе остаться в деревне, было первой, главной ступенькой к этой свободе.

Чем больше моя душа оттаивала для жизни и хотела жить, тем сильнее охватывала ее тоска. Гуляя по знакомым дорогам и тропинкам, я замечала, с какой требовательной настойчивостью возвращала меня в прошлое память. Томясь предчувствиями, я чего-то желала и ждала.

То, что я предчувствовала и чего неосознанно ждала и желала, случилось. Однажды темным октябрьским вечером, это было часов в десять, в дом постучали.

На стук вышел дедушка. Через минуту заглянул в горницу, где я, укутавшись в теплое одеяло, сидя на кровати, читала.

— Какой-то хлопец к тебе. Не знаю в лицо. Пытаецца про Надю, твою подругу. И чего не до Нади пошел, а сюда? Да так поздно? Выйди, поговори.

Заколотилось в груди сердце. Набросив на себя бабушкин платок, я выскочила в сенцы. У распахнутой настежь входной двери на крыльце хаты стоял Федор...

— Матка мне написала, что ты тут, на Прудовице. Давно. И без мужа. Люди говорят, болеешь, — на следующий день, сидя в хлеву на сеновале, куда нас тайком от дедушки провела бабушка, рассказывал мне Федор. — Как получил от тебя письмо да прочитал, что выходишь замуж — я тогда в столовой сидел, обедал, — так у меня тогда весь этот обед... того, обратно... В глазах потемнело... Все! — Помолчав, он продолжил: — Куда мне было и зачем возвращаться? Здесь у меня ничего хорошего. Написал заявление, чтобы оставили в армии. Работать.

У Федора на щеках заходили желваки. Он закурил. Взглянул на меня, смягчился:

— А как получил от матки письмо, что ты тут, да что тебе плохо, стал просить отпуск. Сказал: очень нужно, что, если не пустят, убегу. Отпустили.

Мы сидели рядом и просто, естественно, не смущаясь, впервые смотрели друг другу в глаза при дневном свете, пробивавшемся сквозь щели в стенах и в приоткрытые двери хлева.

— А про Надьку я нарочно придумал, чтобы отвести подозрение от тебя, — Федор усмехнулся. — Хотя дед у тебя не глупый. Мне показалось, что он что-то смекнул.

— Нет, — ответила я, — дедушка не понял.

Проведя бессонную ночь после того, как вечером, на крыльце мы с Федором взволнованно и коротко договорились об этой встрече, я верила и все еще не верила в реальность происходившего. Да и встретились уже не юноша и девушка, а мужчина и женщина. Правда, я была женщиной, не накопившей в своем опыте ничего, кроме разочарований.

Бабушка принесла и подала нам на вышки по кружке молока и горячие, только из печи, олады.

— Не бойтесь, детки. Дед лег отдохнуть. Можно и во двор выйти. Кали что, я предупрежу.

Бабушка, которая раньше была противником наших с Федором отношений, стала нам помогать.

Не сразу случилось то, что уже неотвратимо, по самой естественной логике и законам жизни, должно было случиться. Не сразу и получилось. И я, расстроенная и растерянная, смотрела на вздрагивавшие плечи резко отвернувшегося и севшего ко мне спиной Федора. Минута — и плечи у него перестали вздрагивать. Но он продолжал сидеть ко мне спиной, молча выкуривая сигарету. Потом обернулся, сузив глаза, посмотрел на меня. И я почти не дышала под его тяжелым и жестким взглядом.

— Не думал, что достанешься мне после кого-то, — сказал он, поморщившись, таким тоном, словно хлебнул из тарелки остывшего вчерашнего борща. — А я ведь тебя берег. Не тронул. Жалею теперь, что не тронул. Что не я — первый.

— Ты же знал, что я замужем.

— Знал... — процедил он сквозь зубы. — Но не думал, что трудно будет переступить через это...

Мы с Федором встречались ежедневно. Гуляли в лугах. Ходили к застекленному холодной, осенней, прозрачно-стальной серостью Днепру. Жарили на костре сало и пекли картошку. Срывали с почти голых, с облетевшей листвой кустов дикую подмерзшую ежевику.

В ноябре выпал снег. Я надевала большое, не по размеру, старое бабушкино пальто.

В стогах Федор выгребал, ловко обустроивая, уютную норку, после чего коротко командовал:

— Залазь.

Удивительно-заботливая властность этого человека странным образом действовала на меня. Я послушно, покорно, испытывая даже наслаждение от этой своей покорности, с его помощью пробиралась внутрь, после чего забирался, пристраиваясь рядом, и он сам, слегка замаскировывая, закрывая выход сеном. Так мы грелись.

Конечно, я переживала. Точило, разъедало душу понимание собственного греха. Мысленно вставала перед глазами строгая, целомудренная, всегда крайне порядочная мама. Возникал страх перед отцом. В эти минуты я начинала казаться себе очень плохой.

Но когда рядом со мной был Федор, и я смотрела на него, то чувствовала себя просветленной и счастливой, пожалуй, самой счастливой на свете.

Шли дни. У Федора заканчивался отпуск, а мне в любом случае уже было пора домой, тем более что до бабушки стали доползать слухи, чем занимается в деревне его внучка. Оказывается, даже у поля и у ветра есть уши и глаза...

За день до отъезда (Федора — на службу, а моего — в Минск) мы договорились провести нашу единственную — первую и последнюю — ночь вместе, в его хате на чердаке.

Чтобы было в чем мне ехать домой, мама прислала теплую одежду. Несколько летних вещей легко вошли в небольшую дорожную сумку.

Я попрощалась с бабушкой и бабушкой и якобы отправилась на станцию к вечернему поезду.

Бабушка проводила меня за калитку, и мы вместе подошли к ожидавшему у двора Федору. На улице было темно, на что мы и рассчитывали. Только так можно было оставаться незамеченными. Федор взял из моих рук сумку.

Бабушка на прощанье обняла и поцеловала меня, погладила по руке Федора:

— Глядите ж, мои детки. Только аккуратненько.

По приставной лестнице со стороны сада мы взобрались на чердак. Федор там уже заранее все подготовил: настелил сена, принес теплое одеяло, фонарик.

Не успели мы расположиться, как из хаты, услышав шум, выбежала мама Федора:

— Ты что это надумал, сынок? Иди зараз же в хату!

— Я перед дорогой хочу подышать воздухом, мам. Буду спать на чердаке.

— Яки яшчэ воздух у такі мороз?

Она возмущалась, на чем свет ругая сына. Но Федор, негрубо отругнувшись, сказал твердо, что он так решил. Затаившись, я тихонько, боясь дышать, сидела, держала его за руку и слушала.

Наконец его мама смирилась, сходила в хату, взяла еще одно одеяло, вернулась, поднялась по заскрипевшей лестнице, и со словами: “Дурны! Вот дурны!”, забросила его на чердак.

Я еще не знала, не догадывалась тогда, на чердаке, что все пережитое, увиденное, прочувствованное той ночью останется навсегда горячим и цельным потрясением во мне. Нет, не плотская красота и наслаждение изумили меня, а то простое тепло жизни, которое легко, незаметно, до самых сокровенных глубин наполнило меня.

Движения его рук были сдержанны. Но как откликалось и вторило все естество, сама душа моя этим рукам. Прижимая меня к себе, он то и дело проверял, как я укрыта, натягивая, подворачивая и подтыкая, чтобы не замерзла, под меня одеяло.

Утром, только рассвело, мать Федора отправила старшего сына проверить, живой ли их “дурень” и что заставило его ночевать на чердаке.

Таким образом, нас обнаружили. Позвали — сказали спуститься обоим — в хату.

Федор помог одеться, застегнул, одернул и отряхнул на мне платье. А я не сводила с него глаз. Каждое его движение было уверенно и неспешно. Он словно подчинял меня себе. Я никогда раньше не догадывалась, как приятно бывает просто слушаться. И больше не боясь ничего, счастливо доверялась той спокойной силе, терпению и заботливости, которые исходили от него — от человека, как я теперь знала, беспокойного, нетерпеливого и страстного. Все глубже и шире он открывался мне, и, благодаря этому где-то далеко-далеко, казалось, за пределами самой жизни, остались, растаяли и забылись все нанесенные прежде судьбой раны.

Мы спустились в хату, где нас уже ждали чай и только что отваренная, дымившаяся над открытым чугуном вкусным паром картошка. К моему удивлению, отец и мать Федора были мне рады, приняли, словно свою, и отправили погреться на горячую печь. И несмотря на то, что в хате было бедно и не совсем чисто, я себя чувствовала, как дома, и было мне среди этих людей уютно и спокойно.

— Я знаю, знаю, Федька давно любит тебя, — говорил мне его отец. — Правильно, увози, забирай ее, сынок.

Федор, приложив палец к своим губам, показывал мне: молчи.

Никто в тот день в его семье не притронулся к спиртному.

А вечером мы разъехались: я — в Минск, а Федор — к себе в воинскую часть.

* * *

Несмотря на то, что, прощаясь, Федор сказал мне: “Разводись с мужем”, я этого не делала. Подождать, подумать, дать пройти времени, чтобы не смеялись люди, попросил меня Паша. “Да и как на это, — переживал он, —отреагируют в институте?” Родители, хотя теперь и не выражали прежнего сочувствия к Павлу, тоже советовали не торопиться, а сосредоточить все свое внимание на учебе, которую я запустила.

При встрече Павел, подойдя ко мне, в неприятно поразившем меня волнении протянул, пытаясь обнять, руки, но я решительно и с таким откровенным отвращением отстранилась от него, что он все понял.

Я стала жить у родителей, Павел — у себя в Негорелом.

Почувствовав облегчение от обретенной вдруг свободы, я не придавала большого значения тому, что все еще состою в браке, считая развод формальной процедурой, всего лишь отложенной на время.

Учась на заочном отделении, устроилась на работу по специальности, в лесоустроительное предприятие.

Втайне, “до востребования” — чтобы не огорчать маму — переписывалась с Федором.

Дни в плавном однообразном спокойствии сплетались с ночами, и потекли недели, месяцы...

Главной причиной, мешавшей мне принимать серьезные, касавшиеся моей дальнейшей жизни решения, была проблема со здоровьем. После больницы и того, что в первые месяцы после замужества произошло, я, истаивая изо дня в день, все больше и больше худела.

Еще в деревне Федор, оглядев меня с ног до головы, не скрывая своего разочарования, словно плетью ударил: “На кого ты стала похожа... Тебя ж почти не осталось. А какая раньше девка была!” И, увидев, как я застеснялась, расстроилась, опомнился: “Ну, ничего. Ты все равно красивая”.

...Успешно сдав зимнюю сессию, успокоившись и все обдумав, я решила к Дню советской армии сделать сюрприз Федору.

Мой на три с половиной месяца задержавшийся ответ был кратким. Я написала, что подаю на развод. А двадцать третьего февраля, в его про-

фессиональный праздник, сама приеду к нему. И что согласна выйти за него замуж.

На этот раз мама отнеслась к моей предстоящей встрече с Федором с сочувствием. Я даже в дороге ощущала ее трогательное участие.

Провожая меня на вокзал, она сказала:

— Ты, Наташенька, что бы там и как ни сложилось, главное, не переживай. Тревожно мне за тебя.

И рассказала мне сон, который видела накануне.

— Приснилось, что Федор встретит тебя. Хорошо встретит. Но признается, что женат. И ты, несмотря на то, что собралась к нему на три дня, узнав об этом, обменяешь обратный билет и уедешь.

Я рассмеялась:

— Mamочка, ты же никогда не верила в свои сны. А то, что тебе приснилось — быть такого не может!

От автостанции небольшого районного городка, куда я добралась автобусом из Москвы, уточнив, в каком направлении деревня, где располагалась нужная мне воинская часть, пошла пешком.

Остался позади городок. По обе стороны дороги, по которой я шла, стоял, кутаясь в белоснежные кружева зимы, лес. От снега, игольчатого и рыхлого, тяжело нависали над дорогой ветви елей. Весело прыгали по сугробистым пышным обочинам солнечные зайчики. Казалось, сама природа ликovala, радовалась моему приезду. Я смело, решительно и легко, не ощущая под собой ног, спешила к своему счастью.

Вдруг впереди меня остановилась ехавшая во встречном направлении военная машина. Из открытого кузова спрыгнул и направился ко мне в шинели и армейской шапке на голове мужчина. Радостью горели его глаза.

— Пешком ходишь? — приблизившись, приглушенным басом спросил Федор, и рывком притянул меня к себе.

Он посадил меня в кабину рядом с водителем, сам же взобрался обратно в кузов.

— Пока отведу тебя к сестре, — сказал он мне, когда мы вышли из машины. — Она тебя покормит. Ты у нее погуляешь, подождешь меня, пока я освобожусь. Служба, она и в праздники служба.

Я шла следом, любуясь, какой он высокий, широкоплечий, сильный... Мой мужчина.

Тогда, доверчиво следуя за ним по военному городку, я в полной мере ощущала, что значит быть счастливой.

Давно, еще в деревне, мне рассказали, что друг Федора Василий, с которым они вместе служили в армии, зная, как тот переживает за сестру, стал с ней переписываться. Меня удивило, что, ни разу не встретившись с Леной, представляя ее внешне только по фотографии, Василий взял ее в жены. В тот день, когда он приехал за ней в Иолчу, односельчане не остались в стороне — каждый, что мог, принес в дом Доленюков. Кровати застелили чистыми покрывалами. Но Василий, не оставаясь ночевать, увез Лену с собой.

Жили они хорошо, даже более чем хорошо — славно.

Уже предупрежденная Федором, Лена встретила меня, держа на руках годовалую дочку.

И тогда, оставаясь на время у нее, листая предложенный ею альбом с фотографиями, я вдруг оценила, какой может быть мужская дружба. И про себя подумала, что если Василий, общаясь с Федором, так поступил, то каким же человеком должен быть сам Федор?

Гордость за него, за Василия, за Лену сдавливала волнением горло. Как ясно и хорошо было на душе оттого, что я, наконец, сделала свой выбор.

Тепло, просто, словно с родным человеком, общалась со мной Лена. И так непохожа она была на сестру Павла Инну.

Вечером, когда стало темнеть, подошли Федор и Василий. Лена налила им в тарелки борщ. Я сидела на диване в их единственной, служившей одновременно залом, спальней и столовой, комнатке и смотрела, как ел Федор. Лицо у него было суровое, сосредоточенное. Глядя в тарелку, даже не

бросив ни единого взгляда в мою сторону, как будто меня и не было, он жевал медленно, гоняя под скулами комки желваков.

Поужинав, поблагодарил сестру и, по-прежнему не глядя на меня, подхватил на руки племянницу. Незнакомой мне раньше нежностью осветилось в этот момент его лицо. Девочка притопывала у него на коленях, ухватившись своими маленькими ручками за его огромные темные ладони, и радостно смеялась. Потом подергала его за усы. Федор, в шутку пытаюсь ухватить ее губами за пальчик, улыбался. И я в этот момент подумала, как же, должно быть, этот грубый и суровый на вид человек любит детей.

Наигравшись, он опустил малышку на пол и прямо, в упор, посмотрел на меня:

— Ну что, заскучала?

Он поднялся, тут же, у двери, с вешалки, прибитой к стенке, снял мою шубу и подошел ко мне.

— Пора, пойдём.

Я тепло поблагодарила Лёну, и, попрощавшись с нею и Василием, мы с Федором вышли на улицу. Было темно. Федор придерживал меня за руку. Под ногами особенно громко в морозной тишине скрипел снег. На безмолвно глядевшем на нас далекими недоступными звездами ночном небе горел тоненький месяц. Я, идя рядом с Федором, с удовольствием, бесшумно глотала морозный сухой воздух — воздух нового и еще не постигнутого до конца счастья.

Федор привел меня в пустую казарму. В огромной комнате стояло много кроватей. На одной из них, с краю, лежала постель и аккуратно сложенное суровое солдатское одеяло. Федор снял с меня шубу, отвел, посторожив у двери, в тоже большой по площади и не совсем уютный и удобный, мужской туалет.

Вернувшись к нашей солдатской кровати, он выложил из кармана на тумбочку зажигалку и сигареты, снял с руки и положил рядом часы. Зажег свечу, взятую у Лёны, и выключил электрический свет.

Мы сидели на кровати, не раздеваясь. Я повторила то, о чем до этого сообщила в письме:

— Федя, я все решила. Я буду твоей женой.

Молча, не глядя на меня, он курил.

Я привыкла, мне это даже нравилось в нем, что он мог молчать. Но что бы так? И тут я в жалком отчаянии вдруг вспомнила мамин сон...

Федор курил одну сигарету за другой. Я смотрела на него и ждала. Ждала, когда он это скажет.

Наконец, он сказал... просто, обыкновенно, не подыскивая особых слов, не оправдываясь и не юля:

— Я женат.

Какое-то время после этого мы так и сидели, молча, рядом, не глядя друг на друга.

И вдруг Федор, словно опомнившись, повернулся ко мне, попытался меня — оцепеневшую, непослушную — обнять.

— Хорошая моя, ты единственная, кого я люблю. Я даже встречаться ни с кем не мог, потому что каждую из них, забывая, называл Наташей. А тут сверхсрочно остался. Жить на квартиру перешел к бабке одной. А у нее — дочь Наташа. Не знаю, как получилось. Влюбилась она в меня. Да и живой же я!

Федор замолчал, вытянул из пачки очередную сигарету, опять закурил. Посмотрел на меня:

— А ты — замужем... Короче, забеременела она. Сказала мне. — Федор снова затянулся сигаретой. — Я тогда тебе письмо написал, осенью, помнишь? Думал, если ты ответишь “да”, признаюсь Наталье, скажу, что ее не люблю, чтобы сделала аборт... Поеду, тебя заберу, куда-нибудь переведусь. Но ты не ответила. — Федор курил и курил. Таким и запомнилось мне его лицо в ту ночь — подсвеченное горячим огоньком сигареты. — Я все тянул... тянул... Ждал от тебя ответа. А там — уже шесть месяцев почти... Только за неделю до твоего письма и женился.

И, словно угадывая наперед мои мысли, то прижимая, то отстраняя меня от себя, чтобы заглянуть мне в глаза, говорил:

— Никуда я тебя не отпущу. Отведу к Лене, попрошу, чтобы сторожила, пока не вернусь с работы. Не уезжай. Слышишь, не уезжай, Наташка.

Я уехала. Рано утром. В Москве, на Белорусском вокзале, сдала обратный билет и купила на ближайший поезд, как и приснилось маме.

* * *

Теплым майским днем, когда цвели сады и нежной листвой зеленели деревья, Федор, будучи в отпуске, приехал в Минск и пришел ко мне на работу, в лесоустроительное предприятие. И пока я, волнуясь и не совсем отдавая отчет своим действиям, оформляла неделю за свой счет, ждал меня неподалеку в сквере.

На следующий день мы были на Витебщине, где знакомые помогли снять в деревне маленький заброшенный домик, в котором уже год, после того как умерла хозяйка, никто не жил. Сделав уборку, мы провели в нем несколько дней..

Еду готовили в печи. И я, по какой-то злой иронии судьбы, наяву могла наслаждаться картинками из своей несбывшейся мечты, с тоскливой завистью наблюдая, как умело он укладывал дрова, растапливал печь и ловко ставил в нее в чугушки. Я видела его таким, каким когда-то мечтала видеть, и понимала, что все это мне не принадлежит.

В мае, незадолго до того как он приехал в Минск, у него родилась дочь Яна. Когда, узнав об этом, я спрашивала, как он мог оставить жену с маленьким ребенком и вот так отправиться в отпуск, Федор тут же, не отвечая, нервничал, хмурился и начинал курить.

Перед отъездом он сказал:

— Хочу навестить батьку, сходить на кладбище — к могиле мамы. По-едем вместе.

Наша станция Иолча по маршруту “Чернигов-Янов” после аварии в Чернобыле уже больше года была последней. Дальше — мертвая зона. Только специальные поезда продолжали следовать в прежнем направлении, доставляя на Чернобыльскую атомную и обратно работавших там людей.

Я и Федор шли от станции в Иолчу. У него в одной руке — две небольшие наши с ним сумки, в другой — моя ладонь. Мы чуть приотстали, пропустив вперед приехавших с нами одним поездом людей, которые, разбившись на группки, шли в направлении поселка. По полю от станции вилась широкая, утоптанная и разъезженная в две колеи, дорога. Вдалеке виднелись выстроенные в ряд знакомые, все такие же, какими я их видела в детстве, высокие осокори. Мимо меня и Федора в сторону станции проехал велосипедист. Кто-то обогнал нас на мотоцикле.

Я нервничала.

Осталось позади поле. Мы вышли на широкий, подбитый с двух сторон зарослями молодой, но уже набравшей силу полыни, в белесой россыпи песков шлях. Я заметила, что навстречу нам бежал человек. Не быстро бежал, тяжело, чуть спотыкаясь. Я почувствовала в руке Федора напряжение:

— Батька...

Запахавшись и прерывисто дыша, отец Федора остановился перед нами.

— Мне сказали, что Федька мой от станции идет... С женой приехал. Вот и побежал встречать.

Невысокий, худой, расправляя на груди взмокшую от пота рубашку, растегнутый ворот которой открывал коричневую, в морщинах, шею, он смотрел на нас удивленными, выплещеными глазами, в растерянности перевода взгляд с сына на меня.

— Ну, здравствуй, отец. Вот и встретил. К тебе идем, — спокойно сказал ему Федор.

— Бачу, бачу. И что не жену за руку ведешь, тоже бачу.

Два дня мы провели у отца Федора. Когда темнело, прячась от людей, бродили по окрестностям, но больше, по моей просьбе — по Прудовице. Близко и, казалось, так недосягаемо далеко была родная хата, где светилося окно, и никто за этим окном не знал, с какой тоской смотрела на него и не смела зайти на огонек внучка.

— Пока нет ребенку двух лет, военному развод не дают, — говорил Федор, когда мы, как и в прошлый раз, в Чернигове, на перроне, в ожидании каждый своего поезда, прощались. — Через два года я разведусь и женюсь на тебе. А до этого все равно можно жить вместе.

Я слушала Федора, а сама была уверена: не переступить нам через его ребенка — его маленькую Яну. Никогда не простит он себе этого. И мне тоже. Тем более что детей он любит, очень любит! Вспомнив, какая нежность разливалась по его лицу, когда притопывала у него на коленях и радостно улыбалась ему маленькая племянница, ответила:

— У тебя есть Яна, Федя. Ты не сможешь спокойно жить, если бросишь дочь. — И, не зная, смогу ли я сама в будущем иметь детей, добавила: — А меня — возненавидишь.

* * *

Человеку, как бы ему тяжело ни было, когда он принимает решение, становится легче. И если он решается закрыть одну дверь, перед ним открывается другая.

Вернувшись в Минск и определившись в своих будущих поступках, я почувствовала, что, наконец, разжали свои когтистые объятия, отпустив на свободу мою душу, сомнения и тревоги.

Спокойными жаркими днями догорало лето, когда в лесоустроительное предприятие пришел устраиваться на работу молодой симпатичный парень. Окинул меня взглядом больших и добрых светло-серых глаз, представился Володей и предложил встречаться.

С Володей было общаться на удивление легко, казалось, что мы уже давно знали друг друга. И о чем бы ни заходил разговор, ни разу никто из нас не попытался показать себя с лучшей стороны, как это обычно происходит на первом этапе знакомства. Мы много, от души смеялись. Ни до, ни после тех августовских дней я больше так не смеялась. И эти непринужденные, не обязывавшие ни к чему встречи и беседы, незаметно становясь для каждого из нас ежедневной потребностью, успокаивали и расслабляли. Общаясь с ним, я совсем не испытывала напряжения.

Володя рассказал, что отец у него — алкоголик. Мама — без образования, даже читать не умеет. Но она у него хорошая, добрая, работает на стройке. Сестра есть, на год младше. И признался, что судим, недавно освобожден — три года отсидел за драку. Подрался с хулиганами, вымогавшими деньги. Но был тогда пьяным. Не обошлось без “скорой помощи” и милиции. Хулиганы оказались детьми высокопоставленных родителей. А Володя...

Возможно, именно своей неустроенностью, неблагополучием в семье Володя мне напомнил Федора. И хотя Федор был угрюмым, молчаливым, цыганисто-смуглым, а Володя — открытым, улыбчивым и добрым, а внешне — блондинистым и светлокочим, эта горестная похожесть судеб в моей душе роднила их и объединяла. И я испытывала к Володе симпатию и сочувствие.

Иногда Володя приходил сильно выпившим. И я поняла, что с этим у него тоже проблема. Как и в случае с Федором, мы принялись ее решать. Получилось. Долгие годы придерживался Володя сухого закона.

Через месяц после знакомства Володя предложил выйти за него замуж.

Я не стала скрывать от него историю своей не совсем удавшейся личной жизни и, ответив на его предложение согласием, оговорила условие: прежде чем подать заявление в загс, я съезжу проститься с Федором.

Через два дня, провозжая меня на московский поезд, Володя уговаривал пассажиров подвинуться, сесть потеснее, чтобы высвободить для меня место в общем вагоне.

Мы с Володей поженились.

Я успешно окончила институт, хотя и не обошлось без неприятных моментов. Руководитель моей дипломной работы, профессор Леонид Смоляк, решил как коллега морально поддержать Павла и со словами: “Что, порядочные не нравятся? Непорядочные будут морду бить”, демонстративно, на глазах у членов комиссии, во время моей защиты покинул аудиторию.

Я не растерялась и не расстроилась. И, уверенно держась перед членами комиссии, несмотря на уход моего руководителя, защитила диплом.

Как раз “непорядочные” мне “морду не били”. Я успокоилась, постепенно набрала в весе и, удивляясь, что с кем-то может быть настолько легко и спокойно, называла Володю своими “валерьяновыми капельками”.

Володя, по характеру “ведомый”, стал, можно сказать, “моей тенью”. Уступчивый, почти полностью лишенный эгоизма в отношениях с теми, кто ему дорог, увлекающийся интересами и успехами близких ему людей, для меня, выросшей в семье, где мужчины были довольно властными и жесткими, он стал настоящей отдушиной.

Родители, которые вначале были шокированы моим выбором — надо же, снова бывший уголовник и пьяница! — тихо за меня радовались.

Володя воспринимал меня чуть ли не как богиню. Узнав, что я когда-то, в школьном возрасте, играла на аккордеоне, он, объездив магазины по продаже музыкальных инструментов, принес мне в подарок баян:

— Вот, Наташка, я хочу, чтобы ты играла. Аккордеона нигде не нашел. Но я уверен, ты справишься.

Мне ничего не оставалось, как ему на радость освоить и баян.

Володя очень гордился тем, что я играла. И когда у нас бывали гости, всегда торжественно подносил и ставил мне на колени инструмент.

— А сейчас Наташа вам что-нибудь исполнит.

На улице он подкармливал птиц, бездомных котов и собак. И я не знала никого, чью душу настолько бы сильно и глубоко терзала, не давая покоя, жалостливость. Единственным недостатком, который я в нем видела, была лень. Часто меняя место работы, где каждый раз его что-нибудь разочаровывало, он делал довольно длительные перерывы и, днями оставаясь дома, углублялся в чтение книг. С этим я ничего не могла поделать, да и особо не огорчалась, так как материальных проблем у нас не было. Я открыла свой бизнес, связанный с фитодизайном, и оформила Володю мастером. Как человек настроения, он то увлеченно работал, то периодами, затягивавшимися на месяц и больше, так же увлеченно читал, без смущения, как будто в этом было что-то естественное, позволяя содержать себя.

Но он был так добр ко мне, так искренне радовался каждому моему успеху, что я чувствовала себя сильной рядом с ним, все больше и больше раскрепощалась и познавала себя новую. Именно благодаря Володе я избавилась от годами изводивших меня неуверенности в себе и необщительности. Я стала вести деловые переговоры, давать интервью на радио, сотрудничать с прессой и телевидением. Даже однажды режиссер и ведущий Владимир Довженко в своей популярной спортивной программе “Асілак”, которую я как фитодизайнер оформляла, представил меня телезрителям: “Самая обаятельная женщина Беларуси”. Это я-то обаятельная, которая до встречи с Володей почти всегда сторонилась людей?

До сих пор не сомневаюсь, что именно благодаря душевному участию и чуть ли не слепой, одержимой вере в меня этого человека я стала успешной и известной в республике “бизнес-леди”.

Шел третий год нашей с Володей невероятно спокойной, без эмоциональных всплесков и потрясений, семейной жизни. Ни притирок характеров со страстными ссорами, выяснениями отношений и перемириями, ни ревности...

Говорят, удобная обувь та, которую при носке не замечаешь, не чувствуешь. Присутствие Володи я словно и не замечала, мне было — не нахожу более точного слова, чтобы выразить свои ощущения — комфортно рядом с ним. Комфортно настолько, что естественно возникавшая при этом душевная леность не позволяла мне тогда это его присутствие хоть как-то оценить.

Во время поездок в Прудовицу Володя, искренне принимая душой все, что мне было дорого, не переча и не уставая, ходил вместе со мной моими любимыми тропками, слушал птиц и кузнечиков и, терпеливо составляя мне компанию, правда, без особого энтузиазма, так как побаивался темноты, смотрел на ночные звезды.

Местом, куда влекло чувство ностальгии, был и клуб. Однажды, придя туда, мы с Володей стояли у стены, наблюдая за танцующими. Это было уже какое-то другое, совсем непохожее на наше, а может, так только казалось, поколение. Но в лицах подростков угадывалось то же, свойственное лишь юности, трепетное волнение. Тот же зал... Такие же, затертые от ног танцующих, деревянные половицы. Те же окна с широкими подоконниками, пестревшими сброшенными разгоряченными танцорами пиджаками и кофточками.

Только уже не те лица, которые так хотелось увидеть... Не та музыка... И мы с Володей — чужие сторонние наблюдатели.

— Здравствуй, Наташа, — вдруг передо мной возникла, не скрывая радости ни в глазах, ни в голосе, крупная, высокая, мужеподобная Аня, та Аня с Иолчи, которая когда-то стерегла, оберегала меня для Федора. — Что ты тут делаешь? Когда приехала?

Я тоже обрадовалась, никак не ожидала встретить ее в клубе.

— Познакомься, Аня, это мой муж, — представила я Володю. Рассказала, что приехали на несколько дней, да вот, захотелось пройтись, посмотреть на сегодняшнюю молодежь.

— А ты что тут делаешь? — задала встречный вопрос Ане.

Она, ничуть не смущаясь, ответила:

— А я девка-вековуха. Не замужем. Вот и хожу до сих пор на танцы, — Аня рассмеялась и пристроилась возле нас у стены.

Какое-то время мы молчали, глядя на танцующих, пока Аня, наклонившись ко мне, тихонечко не спросила:

— Ты что-нибудь знаешь о Федоре?

— Нет. Три года почти, как мы с ним не общаемся.

И тут Аня камнем обрушила на меня новость, которая не просто на время потрясла меня, а в течение полугода выжигала, вымучивала, не позволяя хоть иногда забыть о ней, душу.

— У Федора горе. Недавно под колесами грузовика у него на глазах погибла дочка.

— Яна? — спросила я, с ужасом ощущая, как меня охватывает оцепенение.

— Да. Он с женой, и девочка была с ними, провозжали воспитательницу. Яна так захотела. Она очень любила свою воспитательницу. А та была у них в гостях, с женой Федора дружит. Взрослые заговорились и не заметили, как Яночка выронила мячик, и тот выкатился на дорогу...

После того как Аня сообщила печальную новость о Федоре, я нуждалась в общении с ней, как нуждаются в общении с очень близким и родным человеком. Эта душевная приязнь, желание находиться рядом, особенная, которая возникает только между давно и хорошо знающими друг друга людьми, доверительность были взаимными.

Теперь каждый последующий день, проведенный в деревне, мы с Володей приходили к Ане домой. Ее мама угощала нас домашним молоком и румяными, из печи, “оладками”.

В Минск мы приехали вместе с Аней. Она с радостью приняла приглашение погостить и посмотреть город.

В моем фотоколлаже по сей день находится снимок, который мы сделали в те дни в минском фотосалоне: стоим я, Володя, а между нами, на стульчике — Аня.

С тех пор мы с Аней не виделись. У нее умерли родители, и она куда-то далеко уехала. Говорили — на север.

В течение полугода после того, как Аня сообщила о гибели Яны, мою душу грызла, так неожиданно возникнув в ней и вытеснив собой всякую способность спокойно, а уж тем более радостно воспринимать жизнь, тоска. И это тяжелое, гнетущее чувство, свое подавленное душевное состояние я не скрывала, да и не могла скрыть от Володи. Хотя и понимала, что так, как я, поступают люди, которые думают только о себе. Так поступают эгоисты. Володя же эгоистом не был.

— Что ты, Наташка, мучаешься, — сказал он однажды веселым, подбадривающим голосом, — хочешь, съездим к Федору?

— Четвертый год пошел, как мы не общаемся, — засомневалась я. — Где его искать? Вдруг он уже в другой части? А домашнего адреса его не знаю.

— Нашла проблему. Адрес я возьму у отца Федора, в деревне. Представлюсь другом детства. У отца же должен быть адрес сына.

Сохранился у меня и этот листочек, сложенный вдвое, на котором Володиным почерком аккуратно выведен сначала адрес Лены, а ниже — Федора. Так я и узнала, что брат и сестра живут семьями по соседству, на одной улице и в одном доме небольшого подмосковного городка.

Сейчас, когда пишу эти воспоминания, я больше думаю о Володе, нежели о Федоре. И тогда, уже там, в Подмосковье, видя перед собой Федора, общаясь, разговаривая с ним, я тоже больше думала о Володе, несмотря на свое жгучее, неудержимое перед этим желание встретиться.

Я стояла в подъезде этажом выше, когда Володя позвонил в нужную дверь.

Я волновалась. Федора могло не оказаться дома, он вообще мог быть в командировке. Ведь мы с Володей ехали без предупреждения, на свой страх и риск.

— Федор вот-вот вернется с работы, — услышала я женский голос. — Проходите, подождете его.

— Спасибо, я подожду на улице, — отказался Володя и, когда закрылась дверь, поднялся на мой этаж.

— Федор скоро будет, — сообщил он полупшепотом то, что я уже услышала.

— Кто открыл?

— Молодая женщина.

— Какая она? — тут же, не удержавшись от естественного женского любопытства, поинтересовалась я.

— Высокая, с короткой стрижкой. Наверное, жена.

Через какое-то время хлопнула входная дверь в подъезд.

Володя быстро спустился.

— Вы Федор?

— Он самый.

— Поднимемся этажом выше. Там вас ждут.

Мы стояли и какое-то время молча смотрели друг на друга. Он — в военной форме, в шинели. За его спиной, глядя на нас, Володя.

— Ты?

— Я, Федя. А это, познакомься, мой муж.

Что, как это было — будто в тумане. Неясными, словно все происходило во сне, остались во мне воспоминания о том вечере. Может, расплывчатými они были из-за выпитого нами троими на работе у Федора спиртного. Хотя я пила немного, Федор и Володя меня жалели, не наливали. Сами же пили, как говорится, от души, вровень. Только Федор был крепче и оставался внешне трезвым, а Володя очень опьянел, размяк.

Федор и Володя общались по-мужски тепло, словно давно были друзьями.

— Если бы приехали раньше, — помню из признаний Федора, — я не стал бы вот так с вами общаться. Не смог бы. Жить не хотелось после гибели Яны. Однозначно, не стал бы. А сейчас немного полегчало. После того, как родилась Алеська.

Федор рассказал, что у него снова дочка. Я тихо, в душе радовалась. И выражение лица у него было доброе, мягкое.

— А вам советую, — он посмотрел на меня, словно давая понять, что помнит о моем несостоявшемся материнстве, — если не будет своего, возьмите в детском доме ребенка. Обязательно возьмите. — И снова посмотрел на меня тепло, как на родную. — Девочку берите! Только девочку. — И уже тише, Володе: — Так надо. Тогда она будет счастливой.

И еще запомнилось, врезалось в память, как они, два дорогих мне человека, прежде чем нам пойти в гостиницу, стали друг против друга, и Федор, прямо глядя в глаза Володе, спросил:

— Ты ее любишь?

— Люблю.

— Я ее тоже люблю. Береги ее. Будешь беречь?

— Буду.

— Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, — чуть спокойнее сказал Федор. И тут же ужесточил голос: — Но если обидишь — из-под земли достану.

И Федор крепко пожал Володе руку.

Я стояла, глядя на них, слушала и не знала, радостно мне или горько. Только чувствовала, как что-то сильное, исходящее из глубины души, сжимало мне горло.

По дороге в гостиницу Володе стало плохо. Иногда он останавливался, и его рвало.

Я очень переживала, а Федор меня успокаивал:

— Так бывает. Все будет нормально, это пройдет. Он просто много выпил.

Пожилая женщина-администратор небольшой местной гостиницы, взяв у меня и Володи паспорта, определила нас в двухместный номер на первом этаже.

Федору войти и посмотреть, как мы устроимся, она не разрешила:

— Поздно уже.

Володу шатало. Я помогла ему разуться, снять верхнюю одежду, и он тут же рухнул на кровать и погрузился в сон. Федор подошел к нашему окну, легонько постучал. Я выглянула, приоткрыв форточку.

— Он не умрет? — испуганно спрашивала я у Федора.

— Не умрет, не бойся. Вот увидишь, завтра будет живой и здоровый.

Я то и дело подходила к Володе, прислушивалась, как он дышит, и возвращалась к окну.

— Он точно не умрет? — снова в страхе спрашивала я у Федора.

— Точно. Приспится, и все будет нормально. Я знаю.

Потом он меня уговаривал:

— Открой окно. Оденься и вылезай сюда. Я тебя перехвачу, — Федор протянул ко мне руки, — здесь невысоко.

— Нет, это нехорошо. И нельзя оставлять Володю.

— Поверь мне, с ним ничего не случится, — продолжал уговаривать Федор. — Он будет спать. И даже не узнает об этом. Я ведь ничего плохого тебе не сделаю. Приставать не буду, обещаю. Мы хоть поговорим наедине. Я столько тебя не видел.

Я поворачивала голову к спящему Володе, смотрела на него и чувствовала, что не могу этого сделать — вот так, за его доброту и жертвенность, взять и — предать.

— Если ты боишься прыгнуть мне в руки, думаешь, что я тебя уроню, давай я взберусь в вашу комнату. Впусти меня. Ну, пожалуйста, открой окно. — Нет. Нет, Федор, — я решительно покачала головой и потушила свет.

Убедившись, что Володя спит, легла на вторую кровать. Слышала, как Федор долго еще стоял под окном, а потом ушел.

Рано утром в дверь постучали. В номер вошел Федор. Он был в штатском — в обычных брюках и куртке. Я смущенно подтянула к подбородку одеяло, вспомнив, что не заперла изнутри на ключ дверь.

— Подъем! — бодрым, шутливым тоном приказал нам Федор. — Быстренько умывайтесь, одевайтесь, и съездим к моему другу в Можайск. Я все организовал. Там уже ждут в гости.

У нас с Володей были на руках билеты на вечерний поезд из Москвы в Минск. В запасе оставался день, и Федор успел отпроситься с работы, чтобы провести его с нами.

Володя потянулся, не вставая с постели, заулыбался.

— Ну что, живой? — спросил у него Федор.

— Живой.

— Я же говорил, что жить будет, — Федор пожал Володе руку. — Ты чего пугаешь жену? Только и слышал от нее: “Умрет... умрет...”

В Можайске нас гостеприимно приняли. Накормили обедом. Я заметила, как уважительно и тепло относился к Федору его друг, судя по манере держаться и грамотной, красивой речи, — умный и интеллигентный человек. Узнала, что он занимается с Федором, настраивая после окончания вечерней школы учиться дальше — получить юридическое образование. Видела, что с таким же трогательным теплом и уважением относилась к Федору и жена друга. В душе порадовалась, подумала: “Значит, не ошиблась я в Федоре. Хороший он”. И вспомнила, через какое мелкое сито обидных, несправедливых сплетен и слепой травли просеивалась когда-то его жизнь в родной деревне.

Электричкой “Можайск—Москва” мы с Володей едем до Москвы. Федор сойдет на своей станции раньше. Вагон полупустой. Я сижу рядом с Володей. Смотрю на Федора, который сидит напротив. Он же смотрит в окно. Мы все трое молчим.

“Неужели он даже не взглянет в мою сторону? И так ничего не скажет?” — в отчаянии думаю я, не своя с Федора глаз.

Лицо у него словно каменное. Он сидит, не меняя положения, без единого движения, не отрывая взгляда от окна.

“Ну что же, что он там хочет видеть? Мелькающие деревья? Он же вот-вот сойдет с поезда, и на этот раз, скорее всего, мы расстанемся навсегда. Неужели он так и не посмотрит в мою сторону?” — лихорадочно продолжаю думать я, чувствуя, как нарастает напряжение.

Наконец, когда объявили станцию Федора и поезд начал сбавлять ход, я отвела от него взгляд и посмотрела в окно. И тут меня обожгло. Мы встретились... глазами... в отражении окна. Так и замерли, глядя друг на друга. Как оказалось, все это время, не отрываясь от окна, он смотрел на меня.

Впервые в жизни я увидела, чтобы у Федора — неожиданно, в тот самый момент, когда пересеклись, благодаря отражению в стекле, наши взгляды — навернулись на глаза слезы.

Он резко поднялся, кивнув на прощанье, быстро пожал Володе руку и вышел в тамбур.

Поезд остановился. Я смотрела в окно, надеясь увидеть Федора на перроне, но так и не увидела.

Больше мы не переписывались и не встречались. Только и остался зарубкой на сердце тот острый, с внезапно навернувшимися на глаза слезами, взгляд в окне.

* * *

Володя в меня верил. И благодаря этой вере я сумела организовать и сделать успешным свой бизнес. Сформировала коллектив, обучив у отечественных и зарубежных мастеров по аранжировке цветов своих сотрудниц, и с ними озеленили больницы, детские сады, предприятия, министерства, банки, резиденции президента, Дворец Республики... С артистами эстрады, оформляя их концерты, объездила полстраны. Почти во всех крупных универмагах Минска открыла цветочные отделы своей фирмы. Легко и естественно, как будто всегда была к этому готова и всего лишь примерила новый костюм или платье, восприняла собственную популярность.

Рядом находился Володя. Словно был и не был. Так я его воспринимала.

Повторюсь, какой бы грубый смысл это ни заключало, что удобную обувь не замечают. А она служит. И ею — пользуются. Любой удобной, комфортной вещью пользуются. А человеком? Тем более, если человек не про-

тестует, не возмущается и не обижается, а принимает твои интересы и твою жизнь как собственные.

Тогда, вернувшись из Подмосковья, несмотря на то, что я и Володя прожили в браке еще около девяти лет, мы, ни единым словом не обговаривая этого и не объясняясь, не позволили больше себе тех отношений, которые связывают мужа и жену в полноценный союз — физической близости. Скорее, инициатива исходила от меня, а Володя, как всегда и во всем, согласился со мной. Но произошло это, как что-то естественное, для нас обоих одинаково назревшее. Мы относились друг к другу так, будто были братом и сестрой. Даже сегодня, спроси кто-нибудь: “Есть ли у тебя брат?” — я прежде вспомню не о родном, я подумаю о Володе.

Я становилась все увереннее в себе и выстраивала свою “лестничку вверх”. И, не устояв перед искушением поверить людской хвале, уже не сомневалась в собственной исключительности. А Володя, открыто и искренне восхищаясь мной, сам того не осознавая, потворствовал этому.

Я и Володя... Два человека рядом... Только один из нас жил для себя — им была я, — а другой — для того, кто жил для себя. Две жизни — ради одной. Справедливо ли это?

Шли годы, перелистывая, словно страницу за страницей, дни. Рано или поздно, но в человеке начинает пробуждаться, требовать своего, неважно по каким причинам замолчавшая, затаившаяся до времени природа. Мне было уже больше тридцати, когда, избалованная лестью и вниманием окружающих меня людей, я вдруг почувствовала, что во мне не только все еще жива женщина, но и что эта женщина, обнаружив себя, не желает сопротивляться своей капризной природе и готова переступить через ближнего.

Лавина страстей и моего неукротимого эгоцентризма, пока еще не распознанная внутренним зрением, толкала меня на поступки, о которых потом жалела.

Я позволила взять верх в себе женщине и предложила Володе расстаться. Он и на сей раз уступил мне...

Павел, Федор, Володя... Какой след я оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения прошлась по их судьбам?

Каждого из них я предала. Одного — выйдя замуж за него не по любви, уступив собственному безволию. Другого, наверное, все-таки любя, — подчинившись своей слабохарактерности и трусости.

И Володю... Более десяти лет его присутствие в моей жизни было не только не обременительным, но и позволило почувствовать себя уверенно, не страшиться ударов и засад, которыми так часто угрожают люди и мир. Его, словно спасательный круг, бросила мне в трудный момент судьба.

Где они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потрясений, сомнений и угрызений совести? Я еще не знала тогда, в какую муку может превратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убережешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе. И когда из темных подземелий твоей души неожиданно, не позволяя опомниться и все обдумать, поднимутся, вырвутся наружу неведомые ранее желания, и ты, уступив их силе, не в состоянии будешь вернуть их в, пусть теперь и принудительное, заточение, вот тогда и осознаешь, как приговор себе, как окончательное, самое страшное для себя наказание, которое уже не позволит почувствовать себя прежним и успокоиться: “Я предатель”.

А после того как Володя, когда я призналась, что мучаюсь чувством вины перед ним, милосердно ответил: “Я благодарен тебе за годы, проведенные с тобой, — это лучшее, что было в моей жизни”, — моя боль стала только острее.

Восемь лет после развода он жил один. А теперь приходит со своей гражданской женой к нам с мужем в праздники и на Новый год. Она называет меня сестрой. И я этому рада.

В своей жизни я совершила немало плохого. И мне страшно сознавать, что больше я жила для себя, чем для других. И сегодня, когда за плечами столько поступков, ошибок, пережитых боли и радостей, поняла одно: предавая ближнего, прежде всего ты предаешь себя, потому что, совершив предательство, никогда не сможешь почувствовать себя счастливым.